

Наталья Володина

Похоронная сказка



Мерная зыбь, колыбельная. Лодка качается белая, молочная. Тонька плывет. Глаза у Тоньки серые, волосы светлые в пучок стянуты на затылке. Рука в воду опущена. Не сильно, для вида — пальцы замочить. Страшно: кольнет в сердце крик птичий, дернет что-то за руку, стянет в море — и нет человека. Лишь лодка останется, белая, молочная, цветок анарина, похоронная сказка. Облако.

Если повезет — сегодня не сдернет. Вынесет челнок к лукоморью, вернется Тонька к Михе. На день? На год? До нового плавания.

...Ах!

Не вернется.

— Ты чё, Тоньк, дурная седня? Я говорю, майка у тя супер, а ты пасть раскрыла и на муху смотришь. Опять бабка до-

стала с утра?

— И бабка тоже. Да хрен с ней, с бабкой. Какая-то ночью фигня снилась. Ничё не помню, только облака.

— Белорылые лошадки? — заржала Манька. — Или братья-моряне наведались?

— Дура! Обычные облака. Из ваты.

...Этим летом они с Манькой в один лагерь попали, в пятый отряд. Погоды хреновые выдались, дождливые, и от нечего делать Тонька принялась пересказывать подруге бабкины диковинные сказки, выдавая их за свои воспоминания. Истории были про другой мир, иномирян там разных, необыкновенного парня Миху, проклятие и вселенскую любовь, подлые колдовские колодцы и временные кольца. Непонятно даже, откуда бабка — полуграмотная деревенская старуха, за целую жизнь не прочитавшая ни единой фантастической книжки, — этаких чудес поднабралась. Манька же при-



Художник Е. Станиковы



ФАНТАСТИКА

виновата. В школу опоздала — опять же бабкина вина: расселась поперек кухни в вонючем кресле, не обойдешь. Дождь на улице — бабка накаркала. Война в Уругвае — и тут наверняка без бабки Мухоморихи не обошлось.

Бабка была материна мать. В прежние года старуха тихомирно жила в Зюкайке. Казалось довольно весело приезжать к ней летом на каникулы и лопать клубнику прямо с грядки. Тонька звала ее Бусей, любила и с удовольствием слушала странные старухины сказки — почему-то они назывались «похоронные». Но прошлой зимой парализованную женщину пришлось перевезти в город, и вскоре девочка ее возненавидела. Просто невыносимо, если с тобой в тесной квартирке сосуществует зловонное, безумное, страхолюдное чмо, у которого три цели в жизни: пожрать, нагадить и опозорить Тоньку перед друзьями...

Вот те на! Вход в родной подъезд загорживала нехилая толпа соседских спин. Девочка нетерпеливо запрыгала, пытаясь заглянуть за живую стену. Ничего не получалось: стояли насмерть. Вдруг внутри подъезда гулко захохотало басом, да так, что народ разом отбросило на улицу. Чужая пакость, Тонька нырнула в образовавшийся проем. На лестнице, расщеперившись, стояло ненавистное чудовище в короткой ночной рубаше и не раз обмоченных панталонах.

— Ты что же это, снова заходила? — ляпнула Тонька первое пришедшее ей в голову.

— Заходила, да! Надо же с людьми счастьем поделиться. Рожденье у меня седня.

— Пойдем домой, Буся, чё нас с мамкой позоришь? — заныла девочка, пытаясь подпихнуть старуху поближе к дверям. — Какое рожденье, ты ж январская!

Бабка стояла крепко, как русские под Москвой. Она оттолкнула внучку, прокашлялась и взревела дребезжащим баском:

— День рожденья-аа, грустный праздник!

Дзынькнуло лопнувшее стекло, взвыл младенец Гуня, зрительствующий на руках мамыши, дядя Петя, инвалид сердечный, выронил банку с пивом, — словом, бабка произвела полный звездец.

Кое-как с помощью любопытных соседней затолкали ее обратно в квартиру и даже к креслу привязали — мало ли что. Мамку с работы вызволили, мол, буянит твоя. Да напрасно. К мамкиному прибегу старуха сидела смиренхонько, мышкой, скромница вся, пенсионерка-ветеранка. И только глазом водянистым на Тоньку тишком зыркала. Непонятно так. Неуютно. Девочка терпела-терпела, да и сбежала в Карьеры на плотках кататься с ребятами. Благо завтра воскресенье, уроки подождут.

Сбежала. Плот качается. Тонька плывет. Глаза Тоньки серые, волосы светлые в пучок стянуты на затылке. Вода в Карьерах грязная, бурая, вместо рыбин тут пятна мазута водятся да пустые бутылки. Лучше в небо смотреть. На

шла в полный эгегей, заучила морянские названия, нарисовала Миху на шортах, пела про мертвую птицу и делала вид, что не сомневается в инопланетном Тонькином происхождении. А теперь вот хихикает, зараза!..

Ко второй перемене Тонька оклемалась и про сон забыла. Васька-дурак, очень кстати подсадивший ей в сумку жирную жабу, был прибит учебником математики навсегда, и жизнь вернулась в то русло, по коему ей следовало бечь.

После уроков, как домой идти, поднялся ветер. Он отрывал от деревьев желто-зеленые листья и разнообразно зверствовал. Тонька, примчавшая в школу в джинсах и новой майке-безрукавке, крепко замерзла. «Полная осень!» — думала она и привычно злилась на бабку. Та считалась виноватой во всех несчастьях. Не только в Тонькиных, а вообще во всех. Друзей в дом стыдно привести — бабка



ФАНТАСТИКА

облака. Белые они, молочные. Цветы анарина из бабкиных сказок. Интересно, эти цветы вроде сирени или, может, на тюльпаны смахивают? Не узнала вовремя. А теперь вместо Буси — чучело огородное, Мухомориха. За это Тонька и ненавидела бабку, за предательство. Была у них на двоих сказка, пусть и похоронная, а теперь кажется, что и от сказки мочой да дерьмом несет. Поэтому и с Манькой тем миром поделилась — не жаль, жрите-давитесь, нам не нужен, испачканный он. В самый раз для Маньки, глуповидной подруженьки. Вон она, на берегу визжит со страху, хоть кататься не собирается. Дурка.

Вернулась к вечеру. Сели ужинать — кусок в горло не лезет: вон непролазная. Это что из своего логова на весь квартал распространяется. И тут мамка — ворчать:

— Все состаримся, и я такой стану, и ты.

— Да сдохнуть лучше! — возмутилась Тонька. — Лет до тридцати доживу, потом и сдохну. Себя убью.

Мать как даст по щеке:

— Дура! Я тебя вырастила, а ты своих должна поднимать. Порядок такой. Людской закон. И меня додержать да схоронить. А без этого ты не человек, а губка березовая, баба пустоголовая.

— А я не человек, — выдохнула Тонька зло. — Морянка. В клетке здесь. Птица певчая, перелетная. Тюкнет в сердце крик, и нет меня. Лишь лодка останется да песня. — И грянула: — День рожденья-а-а! Грустный праздни-ик!

Само как-то слетело с языка. У мамки аж челюсть отвисла:

— Какая лодка? Дожились! И у этой крыша съехала! Может, у нас наследственность больная? Может, и мне судурить пора?

— Белая лодка, вот какая, — буркнула Тонька и быстро убралась в ванную зубы надраивать, пока посуду мыть не заставили...

Ночью ее разбудила мать:

— Вставай, баб Тоня зовет. Кончается, видно. Попрощаться хочет.

Долго ли, коротко ли ночь тянулась, а к утру бабушка и правда померла. Хоронили ее в светлый, тихий денек — огарок бабьего лета. Народу собралось мало, несколько соседских кумушек да запойный инвалид дядя Петя. Тонька была как во сне, не плакала, слезы не выдавливались, все крутилась: ей взбрендилось непременно достать где-нибудь цветов анарина, мол, иначе Буся обидится. Лишь когда одна из соседок принесла мохнатые белые астры и устроила их в изножье гроба, девочка успокоилась, решив: эти подойдут.

На кладбище взрослые первым делом выпили. Попрощались. Снова выпили. Опустили гроб. Выпили. Бросили по горсточке земли. Выпили. Зарыли. Деловито, спокойно. Молча. Привычно.

— Вот тебе и рожденье! — Набравшийся дядя Петя осмелел и разохотился на речь. — Грустный праздник получает... — И замялся. Сказать было нечего.

— Дурак ты, хоть и Петя! — неожиданно для себя звонко выплеснула Тонька, и ее голосок взлетел над соснами. — Думаешь, на двух ногах, так и человек? Червяк ты пьяный, губка березовая. Не умерла Буся, а к настоящей жизни родилась и уже со своим Михой небось целуется! Себя, уродин, пожалейте!

Она зло и бессильно оглядела оторопевших людей, картинно выстроившихся меж стволов, просела на колени, уткнулась лбом в свежий бугорок — жестокое завершение Бусиной сказки, и правда оказавшейся похоронной. И наконец разревелась...

— Кончай выть, девка. Баб Тоня старая была да больная, отмучилась теперь. Царствие ей Небесное.

Тонька подняла голову: над ней возвышалась усталая женщина в деревенском одеянии, неувовимо смахивающая на мамку. На голове повязан черный платок.

— Ну и рыло, пуще поросю изгваздалась! Чё уставилась? Впервые видишь? Айда капусту рубить. Эх, все навыворот ноне: мать — и ту схоронить некогда по-людски. Трудодни, будь они неладны.

Женщина сплунула, перекрестилась украдкой. Развернулась и быстро зашагала между могилками, торопясь догнать удаляющуюся кучку крестьян.

Тонька снова тупо уставилась на свежий холмик. В голове слегка шумело, — казалось, чешутся мозги. Но сквозь этот шум настойчиво пробивались некие осмысленные звуки. Слова.

Ночной разговор с бабушкой:

— Буся, как же это? А цари были? А на Марс полетят?

— Нету ничего. Ни до, ни после. Временное кольцо. Родовое проклятье. Ради нескольких дней там, с Михой, приходится проживать семьдесят лет здесь. Одни и те же годы. Раз за разом, до тошноты. До отчаяния. Но иначе любовь уйдет от нас.

— Но я ничего не помню о морянах, кроме твоих же рассказов. Может, ты ошибаешься и я — человек?

— Вспомнишь, детка, все придет со временем. Семьдесят лет — долгий срок...

Тонька вытерла рукавом соплю и грязь с физиономии, поднялась с колен, отряхнула старенький сарафан. Нужно идти: видимо, трудодни — дело серьезное.

Капусту рубить девочка, разумеется, не умела. Интересно, чем же Миха такой особенный, коль ради него не жаль пойти на подобные жертвы? «Надо бы вспомнить поскорее», — подумала Тонька озабоченно и, путаясь в длинном подоле, побежала вслед за сельчанами.

